Рина Манова



Качели над обрывом

роман

Рина Манова

Качели над обрывом

«Автор»
2026

Манова Р.

Качели над обрывом / Р. Манова — «Автор», 2026

Каждое утро она сбегает из замка, где её бьют хлыстом, туда, где кончается земля.Аделине семнадцать. Мать холодна как камень, а отчим за каждую провинность берётся за хлыст. Только на рассвете, через тайный ход под часовней, она выбирается на край обрыва над морем и снова может дышать.Там её ждёт Ян, молодой канатчик. Он первым спросил, о чём она мечтает, и повесил для неё качели прямо над пропастью.Но отчим узнаёт о побегах. И однажды Аделина приходит на качели, чтобы больше не держаться.Девять лет назад с этого обрыва упал её отец. Тот, кто знает правду, и тот, кто готов убить, чтобы её скрыть, живут с Аделиной под одной крышей. Впереди свадьба с графом, похоронившим трёх жён, каменоломня, откуда не возвращаются, и буря, которая сорвёт все маски.Роман о первой любви, которая сильнее страха, и о том, что держит человека над пропастью, когда отпустить проще.

© Манова Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Хлыст и соль 6
Глава 2. Тайный ход 11
Глава 3. Человек с верёвкой 16
Глава 4. Служанка, которой не было 20
Глава 5. Мечта о качелях 24
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Рина Манова
Качели над обрывом

Глава 1. Хлыст и соль

В замке Корвель время узнавали по звукам.

В пять утра скрипел засов на кухне — это старая Марта шла растапливать печи. В шесть по каменным галереям прокатывался кашель управляющего Брюна, который никак не мог избавиться от простуды с прошлой зимы. В семь звенел колокольчик в покоях леди Иоланты, и две горничные бежали наверх с горячей водой и щипцами для волос. А в восемь, ровно в восемь, в большом зале раздавались шаги барона Ротгера Остена — тяжёлые, мерные, с лёгким цокотом подкованных каблуков. И тогда весь замок замирал, как замирает лес, когда над ним проходит ястреб.

Аделина знала эти звуки лучше, чем молитвы. Ей было семнадцать, и восемь из этих лет она прожила под цокот подкованных каблуков.

В то утро она проснулась раньше Марты. Её разбудило море. Оно билось внизу, под Вдовьим мысом, с таким упорством, будто хотело достучаться до самой постели. Аделина лежала, слушая этот глухой гул, и смотрела, как в узком окне светлеет небо — не голубым, а серым, как застиранное полотно. В комнате было холодно. Камин здесь разрешали топить только с ноября, а на дворе стоял конец сентября, и барон считал, что дрова, сожжённые раньше срока, — это деньги, выброшенные в трубу.

Она встала, ступила босыми ногами на ледяной пол и поморщилась. Платье висело на спинке стула — тёмно-синее, с высоким воротником. Леди Иоланта не терпела светлых цветов на дочери. «Светлое носят невесты и дурочки, — говорила она. — Ты пока ни то, ни другое».

За завтраком полагалось молчать. Длинный дубовый стол на двенадцать персон, а сидели за ним четверо: барон во главе, леди Иоланта по правую руку от него, Конрад — сын барона от первого брака — по левую, и Аделина в самом конце, у дверей, откуда тянуло сквозняком. Так распорядился отчим ещё в первый год своей жизни в Корвеле. «Дочь покойного должна помнить, что сидит за моим столом из милости», — сказал он тогда, и мать не возразила. Мать вообще никогда не возражала.

Аделина ела овсянку и старалась не стучать ложкой о фарфор. Тарелки были старые, корвельские, с синей каймой и гербом — чайкой над волной. Отец когда-то рассказывал, что прадед заказал их у заморских мастеров, и что каждая стоила как хорошая лошадь. Теперь их осталось девять. Остальные бились — иногда случайно, иногда нет.

— Конрад, — произнёс барон, не поднимая глаз от бумаг, разложенных возле тарелки. — Ты съездишь в Солёную Гавань после полудня. Староста опять тянет с податью.

— Да, отец.

— Возьми с собой Гуго и Сайласа. Если будут жаловаться на улов — напомни им, что море принадлежит Корвелю, а не рыбакам.

— Да, отец.

Конрад был на два года старше Аделины — высокий, светловолосый, с отцовской широкой челюстью и совсем не отцовскими глазами: светло-серыми, почти прозрачными, в которых никогда ничего нельзя было прочесть. Он говорил «да, отец» тем же ровным голосом, каким Аделина говорила «да, матушка». Иногда ей казалось, что это единственное, что у них есть общего.

Леди Иоланта отпила чаю. Она была красива той красотой, которая не согревает, — высокий лоб, тонкий нос, светлые волосы, уложенные так туго, что виски казались натянутыми, как кожа на барабане. Ей было тридцать девять, и она выглядела моложе, потому что почти никогда не улыбалась и не хмурилась. Лицо её было похоже на хорошо закрытую шкатулку.

— Аделина, — сказала она, — после завтрака ты займёшься вышивкой для графини Сарен. Узор должен быть готов к четвергу.

— Да, матушка.

— И убери волосы. Ты выглядишь как прачка.

Аделина машинально коснулась пряди, выбившейся из косы. Волосы у неё были отцовские — тёмные, тяжёлые, непослушные, они никак не хотели лежать гладко, сколько их ни смачивай водой. Она заправила прядь за ухо и потянулась за кувшином с молоком.

Всё случилось за одно мгновение. Кувшин был полон до краёв, ручка скользкая от влажного воздуха, и пальцы у неё замёрзли ещё с утра. Кувшин дрогнул, наклонился — и белая волна плеснула через стол, прямо на бумаги барона.

В зале стало так тихо, что Аделина услышала, как молоко капает с края стола на пол. Кап. Кап. Кап.

Барон медленно поднял голову. Он посмотрел на мокрые листы, на расплывающиеся чернила, потом на падчерицу. Лицо у него было спокойное — почти доброе. Когда барон кричал, можно было надеяться, что крик выйдет из него, как пар из котла. Когда он был спокоен, надеяться было не на что.

— Это, — сказал он, поднимая двумя пальцами мокрый лист, — опись долговых расписок. Над ней мой счетовод работал три дня.

— Простите, — прошептала Аделина. — Я не нарочно. Я перепишу. У меня хороший почерк, вы же знаете, я...

— Встань.

Она встала. Колени у неё дрожали, и она прижала их друг к другу, чтобы не было заметно. Она посмотрела на мать. Леди Иоланта аккуратно промокнула губы салфеткой и отвела взгляд к окну, где по стеклу ползли первые капли дождя.

— Конрад, принеси хлыст.

Конрад поднялся без единого слова. Аделина видела, как напряглась его спина, когда он проходил мимо неё, — но, может быть, ей это только показалось.

Хлыст висел в кабинете барона над камином, рядом с охотничьими рогами и чучелом лисы. Короткий, из плетёной бычьей кожи, с костяной рукоятью. Барон называл его «учителем». «У каждого в этом доме был хороший учитель», — любил повторять он. Аделина познакомилась с «учителем» через полгода после того, как Ротгер Остен женился на её матери. Ей было девять. Она тогда разбила одну из корвельских тарелок — уронила, когда несла на кухню. С тех пор тарелок становилось меньше, а шрамов на её спине — больше.

Конрад вернулся и протянул хлыст отцу. Рукоятью вперёд, как полагается.

— К стене, — сказал барон.

Она знала, что делать, и от этого становилось только тяжелее. Повернуться лицом к холодному камню, где когда-то висел гобелен с корвельской чайкой, а теперь остался только светлый прямоугольник на стене. Расстегнуть три верхних пуговицы на спине — их было удобно расстёгивать самой, потому что мать приказала пришить их пониже, когда Аделине исполнилось двенадцать. Опустить ткань. Упереться ладонями в камень. Не кричать. Крик добавлял удар.

— Пять, — сказал барон. — За небрежность. И ещё два — за то, что перебивала меня, предлагая переписать. Мне не нужен твой почерк, Аделина. Мне нужно, чтобы ты научилась держать руки при себе.

Первый удар всегда был самым страшным, потому что его ждёшь. Он обрушился на лопатки огненной полосой, и Аделина прикусила губу так, что почувствовала вкус соли. Второй лёг ниже. Третий — наискось, по старому шраму, и от этого в глазах побелело. Она считала про себя, медленно, как учила когда-то Марта: «Считай, девочка, считай и думай о чём-нибудь далёком. О море. О птицах. О том, чего у них нельзя отнять».

Четыре.

Она думала о море. О том, как оно выглядело однажды, когда отец посадил её к себе на плечи на самом краю мыса и сказал: «Смотри, Лина. Вот здесь кончается земля. А дальше — всё, что угодно».

Пять.

Ей было тогда восемь. Через месяц отца не стало.

Шесть.

Он сорвался с того самого обрыва. Так сказали. Поехал на охоту, конь испугался, понёс... Его не нашли — море не отдаёт тех, кого забрало у Вдовьего мыса. Хоронили пустой гроб.

Семь.

Барон опустил хлыст. Аделина стояла, уткнувшись лбом в стену, и чувствовала, как по спине под расстёгнутым платьем медленно ползёт что-то тёплое. Не много. Он умел бить так, чтобы не было много крови. Он говорил, что настоящий мастер не портит кожу, а только учит её.

— Застегнись, — сказал он, и голос его был таким же спокойным. — И ступай. Сегодня ты обедаешь у себя. Марта принесёт хлеб и воду.

— Да, отчим.

Она застегнула пуговицы. Это было самое трудное — поднять руки за спину. Пальцы не слушались. Никто ей не помог. Конрад смотрел в тарелку. Мать смотрела в окно. Барон уже снова разглядывал свои бумаги, будто в зале никого не было.

Аделина вышла, держа спину прямо. Она дошла до конца галереи, свернула за угол, туда, где начиналась винтовая лестница в западную башню, — и только там позволила себе прислониться к стене и заплакать. Беззвучно. Этому она тоже научилась.

Марта пришла через час. Старая кормилица была единственным человеком в замке, который помнил Аделину младенцем, и единственным, кого барон не выгнал, — потому что Марта лучше всех на побережье пекла хлеб и солила рыбу, а барон ценил полезные вещи. Она вошла, неся поднос с ломтем хлеба и кружкой воды, а под передником — ещё кое-что: глиняную баночку, завёрнутую в тряпицу, и половину пирога с треской.

— Ну-ка, — сказала она, ставя поднос на стол. — Ложись на живот, птичка моя. Ложись.

Аделина послушно легла. Марта расстегнула платье, охнула и что-то пробормотала себе под нос — то ли молитву, то ли проклятие. Потом открыла баночку, и комнату наполнил запах тысячелистника и гусиного жира.

— Седьмой раз за лето, — сказала Марта, осторожно нанося мазь. — Седьмой. Я считаю.

— Я тоже считаю.

— Ему дай волю, он бы тебя... — Марта осеклась. — Ладно. Что толку. Ешь пирог, пока горячий. Я его у Брюна из-под носа утащила, он думает, это кот.

Аделина улыбнулась сквозь слёзы. Марта всегда умела это — сделать так, чтобы она улыбнулась. Даже в ту ночь, восемь лет назад, когда в замок принесли весть о гибели отца, именно Марта пришла к ней в детскую, села на краешек кровати и до утра рассказывала сказки — про морских дев, про кораблик из ореховой скорлупы, про девочку, которая умела летать. Аделина почти не помнила самих сказок. Она помнила только голос.

— Марта, — спросила она, когда мазь начала холодить и жжение понемногу утихло. — А мама... она ведь не всегда была такой?

Руки Марты на мгновение замерли.

— Не всегда, — сказала она наконец. — Когда твой отец был жив, она смеялась. Громко так смеялась, на весь двор. Он её, бывало, на руках носил по лестнице, а она отбивалась и хохотала, и шпильки из волос во все стороны летели. Я их потом по всему замку собирала.

Аделина попыталась представить мать хохочущей — и не смогла. Будто кто-то говорил ей, что камень умеет петь.

— А потом?

— А потом его не стало, — тихо сказала Марта. — А через полгода приехал барон. С бумагами. Твой отец, видишь ли, задолжал. Много задолжал. Всё было заложено — и замок, и земли, и даже море, говорят. А барон купил долги. И сказал леди Иоланте: или вы выходите за меня, или вы с девочкой идёте на улицу. Вот она и вышла.

— Отец не мог задолжать, — упрямо сказала Аделина. — Он не был таким. Он всегда говорил, что Корвель — это не камни, а люди, и что людей нельзя закладывать.

— Так и я говорю, — вздохнула Марта. — Да кто меня спрашивает? Я старая баба при кухне.

Она закончила с мазью, положила сверху чистую льняную тряпицу и помогла Аделине натянуть сорочку.

— Ешь. И спи. Вечером принесу ещё.

Когда она ушла, Аделина ещё долго лежала, глядя в стену. Дождь кончился. За окном орали чайки, и где-то далеко внизу, в Солёной Гавани, звонил колокол — звали рыбаков на берег разгружать вечерний улов. Жизнь шла своим чередом там, за стенами, а здесь, в западной башне, время будто застыло, как муха в смоле.

Спина горела. Мысли путались. И почему-то в голове всё вертелась одна фраза, сказанная отцом в тот последний месяц: «Вот здесь кончается земля. А дальше — всё, что угодно».

Ночью ей не спалось. Она ворочалась, но лежать на спине было невозможно, а на боку затекала рука. Около четырёх, когда за окном стояла самая глухая, самая густая темнота, Аделина встала, накинула на плечи шерстяную шаль и подошла к окну.

Окно её комнаты выходило на запад — на мыс. Отсюда он был виден весь: узкий каменный язык, вытянутый в море, поросший жёсткой травой и вереском, а на самом конце — старый кривой дуб, который рос там, сколько она себя помнила, и, наверное, задолго до неё. Дуб был согнут ветрами почти пополам, его ветви тянулись над пропастью, будто он всю жизнь хотел шагнуть с обрыва и всё никак не решался.

Под дубом начинался обрыв. Шестьдесят саженей отвесной скалы, а внизу — камни и пена. Там погиб отец.

Аделина смотрела на дуб, и вдруг заметила, что небо за ним — на востоке, над морем, — меняется. Темнота там стала не чёрной, а густо-синей, потом лиловой, а у самой кромки воды проступила тонкая полоска цвета разбавленного вина. Она никогда раньше не видела рассвета с этой стороны. Окна её прежней детской выходили во двор, а в западную башню её переселили только весной — барон решил, что взрослой девице не пристало жить рядом с покоями родителей.

Полоска ширилась. Розовое стало золотым. И вдруг солнце — не всё, только самый краешек, раскалённый, как монета в кузнечном горне, — вынырнуло из моря и брызнуло светом прямо в её окно. Дуб на краю обрыва вспыхнул, каждый его лист стал медным, и тень от него легла на траву длинной тёмной дорогой.

Аделина стояла, вцепившись в подоконник, и не могла вздохнуть. Это было так красиво, что больно. Больнее, чем спина.

Она не знала, сколько простояла так. Солнце поднималось, тени укорачивались, внизу заскрипел кухонный засов — Марта пошла растапливать печи. Пять часов. Через час закашляет Брюн, через два зазвенит колокольчик матери, через три — цокот подкованных каблуков.

Но до тех пор, подумала Аделина, у неё есть час. Целый час, который никому в этом замке не нужен. Час, когда барон спит, мать спит, Конрад спит, а стражники у ворот клюют носами, потому что знают: в такую рань никто не приходит и никто не уходит.

Целый час, который может принадлежать только ей.

Она ещё не знала, как туда выбраться. Она не знала, что будет, если её поймают. Она знала только одно — завтра на рассвете она будет стоять под тем дубом. Даже если за это придётся заплатить ещё семью ударами.

Потому что есть вещи, которых у тебя нельзя отнять. Марта была права. Надо только найти их — и держаться крепко.

Глава 2. Тайный ход

Из замка Корвель вели трое ворот, и все трое охранялись.

Главные, с подъёмным мостом, смотрели на окружную дорогу, и там день и ночь дежурили двое стражников с алебардами. Хозяйственные ворота выходили на тропу к Солёной Гавани — их отпирали на рассвете для рыбных телег, и стоял там старый Густав, глухой на одно ухо, но зоркий, как чайка. А третьи, маленькие, почти калитка в стене кухонного двора, с прихода барона были заколочены наглухо. Барон не любил, когда в его доме были двери, о которых он не знал.

Аделина провела два дня, придумывая планы один безумнее другого. Спуститься по связанным простыням из окна — но под окном башни было сорок локтей гладкой стены, а простыней у неё было две. Уйти с рыбными телегами, спрятавшись под рогожей, — но телеги выезжали пустыми и возвращались к полудню, а к завтраку она должна была сидеть у дверей в синем платье с высоким воротником. Подкупить стражу — но чем? У неё не было ни монеты. Украшения, которые остались от бабушки, мать держала под замком и выдавала только по праздникам.

На третий день она сдалась и пошла к Марте.

Старуха сидела у очага и чистила селёдку. Руки у неё были серебряные от чешуи до самых локтей. На кухне было тепло, пахло дымом, укропом и кислым тестом, и Аделина вдруг поняла, что это единственное место в замке, где ей хоть иногда бывало тепло по-настоящему.

— Марта, — сказала она, присаживаясь на край лавки, — ты помнишь, как отец водил меня на мыс?

Нож в руке Марты не остановился.

— Помню.

— Мы никогда не выходили через ворота. Я только сейчас это поняла. Мы спускались куда-то вниз, и там было темно, и отец нёс фонарь, а я боялась летучих мышей. А потом сразу — трава и ветер. У самого дуба.

Марта отложила селёдку и вытерла руки о фартук. Долго смотрела на Аделину своими выцветшими синими глазами, в которых было столько морщин, что казалось, будто она всегда щурится от солнца.

— Зачем тебе это, птичка?

Аделина могла бы соврать. Она научилась врать так же хорошо, как молча плакать. Но Марте она не врала никогда.

— Я хочу видеть рассвет, — сказала она. — Оттуда. Из окна я его видела, и это... Марта, это единственное, что в моей жизни не принадлежит ему. Ни ему, ни матери. Солнце всё равно встаёт, что бы он ни делал. Я хочу хотя бы час в день быть там, где всё не принадлежит ему.

Марта долго молчала. В очаге треснуло полено. Где-то над ними, в гостиной, прозвучали шаги, и обе машинально замерли — но шаги были лёгкие, женские, горничной или самой леди Иоланты, и сердце снова пошло ровнее.

— В старую часовню ты заходила? — спросила наконец кормилица совсем тихо.

— Она закрыта. Барон велел закрыть, ещё когда приехал. Сказал, что не собирается платить за свечи для чужих покойников.

— Закрыта, — согласилась Марта. И вдруг сунула руку за ворот рубахи и вытащила шнурок, на котором висели два ключа — один большой, чёрный, с витой головкой, другой маленький, позеленевший от времени. — А вот ключ от неё есть не только у барона.

Аделина смотрела на ключи, боясь прикоснуться.

— Твой отец мне их отдал, — сказала Марта. — За неделю до того... до того самого. Пришёл на кухню ночью, вот как ты сейчас, сел на эту самую лавку и говорит: «Марта, спрячь.

Если со мной что-нибудь случится — отдашь Лине, когда она сама спросит. Не раньше». Я ещё посмеялась: что с вами, милорд, случится, вы вон какой здоровый. А он не засмеялся.

В кухне стало очень тихо.

— Он знал? — шёпотом спросила Аделина. — Он знал, что что-то случится?

— Не знаю, птичка. И тебе не советую гадать. От таких догадок в этом доме люди не спят по ночам. — Марта надела шнурок ей на шею и сама спрятала ключи под высокий воротник. — Большой — от часовни. За алтарём плита, на ней выбита чайка. Надавишь на крыло — плита отойдёт. Там лестница и ход. Идёт под двором, под стеной и выходит в расщелину у самого мыса, шагов за тридцать от дуба. Маленький — от решётки на том конце. Корвели этим ходом сто лет назад контрабанду таскали, а твой прадед в войну прятал там жену с детьми. Барон о нём не знает. Никто не знает, кроме меня. И теперь тебя.

— А мама?

Марта помедлила.

— Леди Иоланта не спускалась в часовню с дня похорон. Ни разу. Думаю, она забыла. А может, и нет. У неё не спросишь. — Она взяла Аделину за подбородок своими шершавыми, пахнущими рыбой пальцами. — Слушай меня. Выходишь только после того, как стража на стене сменится — это в четыре. Возвращаешься до того, как Брюн закашляет. Не опаздываешь ни на минуту. Никогда не ходишь в туман — в туман с мыса люди падают. И если тебя поймают — ты ничего не знаешь ни про ключи, ни про меня. Вышла через хозяйственные ворота, пока Густав дремал. Поняла?

— Поняла. Но тогда накажут Густава.

— Густаву семьдесят лет, и барон его и так выгонит к весне, когда найдёт кого подешевле. А последний ход из Корвеля терять нельзя. Ты меня поняла?

Аделина кивнула. И впервые за много лет обняла старуху — крепко, как в детстве, забыв про спину, и тут же зашипела от боли. Марта гладила её по голове и бормотала: «Ну, ну. Ну, ну».

В четыре утра следующего дня Аделина стояла у двери часовни, сжимая в кулаке ключ так сильно, что витая головка врезалась в ладонь.

Часовня была в старом крыле замка, куда после смерти отца почти никто не заходил. Барон переделал под себя восточное крыло — там были его кабинет, спальня, казна и оружейная. В старом крыле держали теперь лишнюю мебель, старые ковры и всё, что напоминало о лорде Эдвине Корвеле. Аделина прошла через две тёмные залы, заставленные чехлами, под которыми угадывались кресла и комоды, и каждый чехол казался ей пригнувшимся человеком. Свечу она зажечь не посмела — шла на ощупь, ведя рукой по стене, как ходила в детстве, когда играла в слепую принцессу.

Замок поддался не сразу. Он заржавел, и ключ проворачивался с таким скрежетом, что Аделина стиснула зубы и насчитала до ста прежде, чем попробовать снова. Никто не пришёл. Замок спал. Дверь подалась, и в лицо ей пахнуло холодом, воском и пылью.

В часовне было чуть светлее — сквозь узкое цветное окно над алтарём пробивался бледный свет луны. Аделина помнила это окно: на нём была изображена женщина, идущая по воде. В детстве она думала, что это её мать. Сейчас невозможно было вообразить леди Иоланту, идущей по воде. Скорее уж вода замёрзла бы под её шагами.

Она обошла алтарь. За ним, в полу, среди стёртых надгробных плит с именами давно умерших Корвелей, встретилась одна — без имени. Только чайка с распростёртыми крыльями. Аделина опустилась на колени, нащупала левое крыло и надавила. Ничего. Надавила правое. Ничего. Сердце упало. Может быть, Марта перепутала. Может быть, ход давно завалило. Может быть, барон всё-таки узнал и приказал...

Она надавила обоими руками на оба крыла сразу — и плита с тихим вздохом, как живая, просела и отъехала в сторону.

Аделина не сдержала нервного смешка. Чайка с двумя крыльями. Конечно. Отец всегда говорил: «Одним крылом не летают, Лина».

Вниз уходила крутая лестница, выбитая прямо в скале. Аделина зажгла наконец свечу — под землёй её уже никто не мог увидеть — и начала спускаться. Ступеней было сорок две. Потом — узкий коридор, такой низкий, что идти приходилось согнувшись, и каждый наклон отзывался в спине тупой болью. Со стен сочилась вода. Пахло солью и мокрым камнем, и откуда-то издалека доносился морской гул — словно скала дышала.

Однажды что-то мелькнуло у её лица, и она чуть не закричала. Летучая мышь. Восемь лет назад она бы уцепилась за руку отца. Теперь она просто постояла, пережидая, пока уймётся сердце, и пошла дальше. Бояться летучих мышей — роскошь для девочек, у которых нет в доме «учителя».

Решётка в конце хода заросла таким плотным ковром плюща с той стороны, что сама казалась частью скалы. Маленький позеленевший ключ повернулся неожиданно легко — будто замок кто-то смазывал. Аделина на мгновение задумалась об этом, но тут решётка подалась, зелёный занавес разошёлся — и она шагнула в ветер.

Ветер был везде. Он ударил ей в лицо, растрепал волосы, сорвал с плеч шаль — она едва успела поймать её за край. Он пах солью, водорослями и чем-то ещё, чему она не знала названия, — простором, наверное. Так пахнет место, где нет стен.

Расщелина вывела её на склон, поросший вереском, и дальше Аделина шла уже вслепую, всем телом чувствуя, куда идти. Земля под ногами была упругая, влажная от росы. Туфли промокли на третьем шагу. Она не заметила.

Дуб вырос перед ней из сумерек, как старый великан. Вблизи он оказался куда больше, чем из окна, — ствол в три обхвата, кора в глубоких бороздах, корни, вцепившиеся в скалу, как пальцы сорвавшегося скалолаза. Одна его ветвь — самая толстая, толще иного дерева — уходила прямо над пропастью, почти горизонтально, и терялась в серой мгле.

Аделина прижалась спиной к стволу — осторожно, плечами, не лопатками, — и сползла на сухой пятачок земли между корнями. Перед ней лежало море. Пока ещё тёмное, бескрайнее, с белыми проседями пены. И небо над ним уже начинало светлеть.

Она смотрела. И ни о чём не думала. Впервые за восемь лет — ни о чём.

Когда над горизонтом показался солнечный край, Аделина почувствовала, что плачет, — и это были совсем другие слёзы, не те, к которым она привыкла. Они не жгли. Они были лёгкие, как дождь в апреле.

Уже собираясь уходить, она заметила на стволе дуба буквы. Старые, затянувшиеся, вырезанные ножом на высоте её лица: «Э. и И.» И ниже, мельче, корявее — будто резал тот же человек, только позже и в спешке: «и Л.»

Эдвин и Иоланта. И Лина.

Аделина провела пальцами по буквам. Она пыталась представить, как мать — их мать, леди Иоланта с натянутыми висками, — стоит здесь с растрепанными ветром волосами и смеётся, а отец вырезает на дубе их имена. Не получалось. Но пальцы всё равно сами собой следовали по изгибам букв, снова и снова.

А потом она подняла глаза и увидела на той самой толстой ветви, уходящей над обрывом, два железных кольца. Ржавых, наполовину вросших в дерево. Они висели на расстоянии локтя друг от друга, и от них вниз ничего не спускалось.

И Аделина вспомнила.

Воспоминание обрушилось на неё целиком, со звуками и запахами, как волна. Отец стоит на лестнице, приставленной к дубу, с молотком в руке и гвоздями во рту. Она стоит внизу и держит лестницу — вернее, думает, что держит, а на самом деле просто цепляется за неё обеими ручонками.

«Папа, а зачем кольца?»

«Для качелей, воробейчик».

«Качели? Здесь? Но тут же обрыв!»

«В том-то и дело. — Он спускается, подхватывает её на руки, и от него пахнет стружкой и табаком. — Обычные качели летают над землёй. А эти будут летать над морем. Качнёшься вперёд — и земли под тобой нет. Только небо. Совсем как чайка. А назад — и снова дома».

«А я не упаду?»

«С моих качелей — никогда. Я сделаю их так, что они выдержат даже бурю. Придёт лето — и ты будешь летать, воробейчик. Обещаю».

Лето не пришло. То есть пришло, конечно, и не одно, целых восемь, — но уже без него. А ржавые кольца так и висели над пропастью, без верёвок, без сиденья, — невыполненное обещание, застывшее в железе.

Аделина просидела бы так весь день, глядя на кольца. Но солнце уже целиком вышло из моря, и где-то там, за стенами, сейчас должен был закашлять Брюн.

Она бежала обратно так, как не бегала никогда в жизни. Проскользнула в расщелину, заперла решётку трясущимися пальцами, неслась по коридору, согнувшись, задевая плечами мокрые стены. Сорок две ступени. Плита с чайкой — как её закрыть? Она панически шарила руками по стене лестничного колодца, пока не нащупала выступ — и плита с тем же вздохом встала на место. Часовня, залы с чехлами, лестница в западную башню...

На последнем повороте лестницы она едва не врезалась в человека.

Это была мать.

Леди Иоланта стояла у узкого окна-бойницы в ночной рубашке и наброшенном на плечи сером плаще. Волосы её, всегда туго уложенные, были распущены и лежали по спине светлой волной — Аделина никогда не видела их такими. И смотрела она в окно — на запад, на мыс, на дуб.

Они замерли обе. На мгновение Аделине показалось, что на лице матери что-то дрогнуло — как лёд на реке, когда под ним проходит течение. Взгляд скользнул по её мокрым туфлям, по подолу, к которому пристали сухие цветки вереска, по спутанным ветром волосам. Аделина перестала дышать.

Мать подняла руку. Медленно, неуверенно, будто забыла, как это делается. Пальцы её остановились в вершке от дочериной щеки, там, где прилип к коже тонкий листик дуба.

И опустились.

— Иди к себе, — сказала леди Иоланта. Голос был обычный — ровный и холодный. — И переоденься. Ты выглядишь как прачка.

Она повернулась и пошла прочь, не оглядываясь. Светлые волосы качнулись за её спиной и исчезли за поворотом.

Аделина ещё долго стояла на лестнице, не понимая, что случилось. Мать видела. Мать точно видела — и мокрые туфли, и вереск, и лист. Мать слишком хорошо знала, где растёт единственный дуб на Вдовьем мысе.

Аделина ждала расплаты весь день. За завтраком, за вышивкой, за обедом она вздрагивала от каждого звука шагов. Ждала, что барон поднимет глаза от своих бумаг и скажет: «Конрад, принеси хлыст».

Но барон ничего не сказал. Ни в тот день, ни на следующий.

Мать молчала.

И на третий день, в четыре утра, Аделина снова повернула ключ в заржавелом замке часовни.

Так прошли две недели. Октябрь пришёл с дождями и туманами, и в туманные утра она оставалась дома, как велела Марта, и маялась у окна, словно у неё отняли воздух. А в ясные — сидела под дубом, прижавшись плечом к буквам «Э. и И. и Л.», и смотрела, как солнце

выходит из моря. Спина заживала. Что-то внутри неё, сжатое в тугой комок давным-давно, тоже понемногу расправлялось, как лист папоротника.

А на пятнадцатое утро на мысе был кто-то ещё.

Глава 3. Человек с верёвкой

Сначала она увидела верёвку.

Толстая, серо-жёлтая, пеньковая, она была захлёстнута вокруг нижнего корня дуба — того, что уходил в скалу у самого края, — хитрым узлом и уходила вниз, в пропасть, натянутая, как струна. И чуть-чуть подрагивала.

Аделина замерла в десяти шагах от дуба. Все её инстинкты, воспитанные восемью годами жизни в Корвеле, кричали одно: беги. Беги, пока тебя не увидели. Чужой человек на земле барона — это либо браконьер, либо беглый, либо слуга барона, и все трое одинаково опасны для девушки, которая в пять утра сидит в одиночестве на краю света.

Но верёвка дрожала. И Аделина вдруг поняла, что на другом её конце, там, над шестью-десятью саженями пустоты и камнями в пене, висит человек.

Она сама не заметила, как оказалась у края. Легла на живот на холодную мокрую траву — так было страшно стоять над пропастью — и выглянула вниз.

Он был саженях в трёх ниже неё. Стоял на узком уступе, шириной с ладонь, уперевшись ногами в скалу и откинувшись назад на верёвке, будто сидел в кресле. На плече у него висела плетёная сумка, в зубах — сухая травина. Одной рукой он держался за верёвку, а другой шарил в трещине скалы, и вид у него был такой же спокойный, как у Марты, когда она шарила в кадке с мукой.

Из трещины с возмущённым криком выпорхнула птица — бурая, пёстрая, с кривым клювом, — и забила крыльями прямо у него перед лицом. Человек отшатнулся, нога соскользнула с уступа, и он повис на одной руке, болтаясь над пустотой, как стиранная рубаха на ветру.

Аделина закричала.

Она сама не ожидала от себя такого крика — звонкого, отчаянного, на весь мыс. Восемь лет она не кричала вообще. Крик добавлял удар.

Человек поднял голову. На мгновение они встретились глазами: серые — её, расширенные от ужаса, и его — серо-зелёные, цвета моря в пасмурный день, и в них не было ни капли страха. Только чистое, бесконечное изумление.

Потом он лениво, почти нехотя, нащупал ногой уступ, выплюнул травину и сказал:

— Так только чайки кричат, когда у них рыбу отнимают. У вас кто-то отнял рыбу, сударыня?

Аделина открыла рот и закрыла его.

— Вы чуть не упали, — выдавила она наконец.

— Я? — Он посмотрел вниз, на камни, с таким видом, будто только что их заметил. — Нет. Я привязан. А вот вы, если пролезете ещё на палец вперёд, упадёте наверняка. Там дёрн нависает, под ним пусто. Отползите-ка, а? А то мне потом вас со скал соскребать, а у меня сумка маленькая.

Аделина отползла. Сидела на траве, обхватив колени, и слушала, как скрипит верёвка о корень. Сердце колотилось где-то в горле. Верёвка скрипела, скрипела — и вот из-за края показалась рука, потом вторая, потом взлохмаченная голова, и человек одним движением вымахнул наверх и встал на ноги, отряхивая ладони.

Он оказался молодым — пожалуй, лет двадцати, не больше. Высокий, худой, с длинными сильными руками и такими широкими ладонями, что казалось, они достались ему от кого-то другого, покрупнее. Тёмно-русые волосы выгорели на солнце прядями и торчали во все стороны. Лицо загорелое, обветренное, на скулах — светлая щетина. Льняная рубаха с закатанными рукавами, кожаная жилетка, старые штаны, подвязанные бечёвкой, и босые ноги — в октябре! По внутренней стороне правого предплечья тянулся старый белый шрам, ровный и длинный, как от верёвки.

Он смотрел на неё сверху вниз, наклонив голову набок, как смотрят на диковинную птицу, выброшенную штормом на берег.

— Вы кто? — спросила Аделина, стараясь, чтобы голос звучал строго, как у матери. Получилось скорее как у перепуганного воробья.

— Я? Ян. Ян Вереск, из Солёной Гавани. А вы кто?

Она начала было отвечать — и осеклась. Аделина Корвель, падчерица барона Остена. Девушка, которая сейчас должна спать в своей постели в западной башне. Девушка, о которой этот парень сегодня же расскажет в своей деревне — а в деревне есть староста, а староста боится барона больше, чем океанских штормов, и сегодня после полудня туда как раз едет Конрад за податью...

— Лина, — сказала она. — Я... с кухни. Из замка. Помогаю Марте.

Ян медленно оглядел её ещё раз. Шерстяная шаль тонкой работы. Платье, пусть и тёмное, но из добротного сукна. Туфли на кожаной подошве, уже раскисшие от росы. Тонкие белые пальцы без единой мозоли. Аделина поспешно спрятала руки под шаль.

— С кухни, — повторил он без тени улыбки. — Понятно. А я, значит, королевский адмирал. Вышел вот за яйцами для своего флота.

Аделина покраснела до корней волос.

— Я правда с кухни.

— Ну разумеется, — легко согласился он. — Вот и я правда адмирал.

Тут он вдруг улыбнулся. Улыбка у него оказалась такой же, как руки, — слишком большая для лица, кривоватая, с одним сколотым передним зубом, и настолько заразительная, что Аделина, сама не зная почему, фыркнула. И тут же испуганно зажала рот ладонью.

— Вот так-то лучше, — сказал Ян. — А то сидите серая, как соль в бочке.

Он присел на корточки чуть поодаль, как присаживаются возле пугливого зверя, и вытряхнул на траву содержимое сумки. Там были перья. Целая гора серо-бурых, невероятно лёгких перьев, скорее даже пуха — ветер тут же подхватил пару клочков и понёс над обрывом, и Аделина проводила их глазами.

— Гагачий пух, — объяснил он. — Гаги летом выводят птенцов на уступах, а к осени улетают и оставляют гнёзда. Из них пух и берём. Заморские купцы платят за фунт столько, сколько рыбак за месяц зарабатывает. Собирать можно только поздней осенью, когда птицы уже ушли, иначе нехорошо. А она вот не улетела, старуха. Та, что мне в лицо крыльями. Осталась сторожить пустое гнездо. Такие бывают.

— Зачем?

Ян пожал плечами.

— У неё спросите. Может, ждёт кого. Может, привыкла. Птицы — они как люди: иногда остаются там, где им плохо, просто потому, что забыли, что умеют летать.

Аделина ничего не ответила. Она смотрела на море. Солнце уже поднялось на ладонь над водой, и волны горели, и всё на свете казалось вдруг невозможно простым и невозможно сложным сразу.

— Вы тоже тут не в первый раз, — сказал Ян. Это был не вопрос.

— Откуда вы знаете?

— Снизу видно. Я с лодки сети проверяю каждое утро, как рассветёт. И уже две недели на мысу под дубом — тёмное пятнышко. Сидит не шевелится. Наши на пристани начали болтать, что это призрак старого лорда вернулся. А лорд, говорят, был мужчина рослый, не вашего сложения. Вот я и решил посмотреть, что там за призрак. Заодно пуха набрать.

— И что теперь скажете на пристани? — спросила Аделина, и голос её дрогнул.

Ян посмотрел на неё долгим взглядом. Ветер трепал его всколоченные волосы и её выбившиеся из косы пряди, и в какой-то миг Аделине показалось, что он видит её насквозь — и шрамы под платьем, и цокот каблуков, и всё остальное.

— Скажу, что это была гага, — ответил он наконец. — Старая гага, которая сторожит пустое гнездо. Такие бывают.

Аделина выдохнула. И только сейчас поняла, что всё это время держала воздух в груди.

— Спасибо, — сказала она.

— За что? — удивился Ян. — Я же правду скажу. — Он сгрёб пух обратно в сумку, аккуратно, клочок за клочком, и понизил голос: — Только вот что, кухарка Лина. Вы тут сидите не в правильном месте.

— Почему?

— Корень подмывает. — Он кивнул на место между корнями, где она просиживала каждое утро. — Снизу трещина идёт под самый ствол. Не сегодня и не завтра, но лет через десять этот старик всё-таки шагнёт. А вот там, слева, за вторым корнем, — скала целая, как наковальня. И видно оттуда лучше. Солнце встаёт прямо в развилку ветвей, в самую середину — только в это время года, в октябре. Дуб вспыхивает, как фонарь. Вы завтра попробуйте.

Аделина недоверчиво смотрела на него.

— Откуда вы всё это знаете?

Что-то мелькнуло у него в лице — быстро, как тень от облака по воде.

— Отец рассказывал. Он был канатчик, лучший на побережье. Да и скалолаз тоже. Он тут каждый камень знал. — Ян помолчал. — Умер три года назад. Лихорадка.

— Мне жаль.

— Мне тоже. — Он сказал это просто, без надрыва, и Аделина почему-то подумала, что в его доме о мёртвых не молчат. В его доме о них, наверное, рассказывают за ужином и смеются. В её доме имя отца не произносили восемь лет.

Над замком колокол пробил шесть раз. Аделина вскочила, как ужаленная.

— Мне пора. Марта ждёт. Тесто... тесто надо месить.

— Само собой, — серьёзно кивнул Ян. — Тесто ждать не станет. Вот, возьмите.

Он что-то вложил ей в ладонь. Это был клочок гагачьего пуха — невесомый, серый, тёплый, как дыхание.

— Зачем?

— Затем, что у вас пальцы синие, — сказал он. — Положите в рукавицу, или в туфли, или куда хотите. Гага своих птенцов этим всю зиму греет. А вы... вы тоже похожи на птенца, которого забыли согреть.

Аделина смотрела на пух в своей ладони. В горле стоял ком, и она не понимала, откуда он взялся. Она сжала пальцы.

— Вы завтра придёте? — спросила она и тут же пришла в ужас от собственной смелости.

Ян посмотрел на неё, потом на дуб, потом на море.

— У меня там ещё три гнезда на верхнем уступе, — сказал он небрежно. — И гага-старуха не даст взять их за одно утро. Так что, пожалуй, приду.

Аделина кивнула, повернулась и побежала к расщелине. Только у самого плюща она сообразила, что теперь он знает, куда она исчезает. Она обернулась.

Ян стоял спиной к ней у края обрыва и смотрел на море — нарочно, поняла она, чтобы не видеть. Чтобы ему нечего было рассказать, даже если спросят.

От этого в горле встал такой ком, что всю дорогу по тёмному ходу она не могла его проглотить.

За завтраком она сидела, сжимая под столом в кулаке серый клочок. Барон читал письма. Мать резала яблоко на тонкие, прозрачные дольки, как всегда. Конрад — Аделина почувствовала это кожей, как сквозняк, — смотрел на неё.

Она подняла глаза. Светло-серые, почти прозрачные, ничего не выражающие глаза медленно скользнули по её лицу к волосам. Аделина не шевельнулась. Конрад чуть прищурился — и снова стал смотреть в свою тарелку.

Только вечером, расплетая косу перед зеркалом, она нашла в волосах, у самого виска, крошечное бурое пёрышко. Гагачий пух. Ветер занёс, когда Ян вытряхивал сумку.

И целый день оно там висело, у всех на виду.

Аделина сидела перед зеркалом, держа пёрышко на кончике пальца, и думала о светло-серых глазах, которые скользнули к её виску и чуть сузились. А потом — о серо-зелёных, цвета моря в пасмурный день.

Вторые почему-то всё время вытесняли первые.

Она дунула на палец. Пёрышко взлетело, покружилось в свете свечи и медленно опустилось в огонь. Коротко затрещало. И исчезло.

А серый клочок она спрятала под подушку. И в ту ночь впервые за много недель уснула сразу.

Глава 4. Служанка, которой не было

Гага-старуха оказалась тварью упрямой. Она не дала взять верхние гнёзда ни за одно утро, ни за два, ни за неделю. По крайней мере, так уверял Ян, каждое утро поднимаясь из-за края обрыва с полупустой сумкой и совершенно серьёзным лицом.

— Опять клевалась, — сообщал он, показывая руку, на которой Аделина не видела ни царапины. — Зверь, а не птица. Придётся завтра снова.

И назавтра приходил снова.

Они сидели теперь там, где он показал, — слева, за вторым корнем, на плоском выступе скалы, тёплом и сухом даже после дождя. И Ян оказался прав: отсюда солнце вставало прямо в развилку дубовых ветвей, и старое дерево вспыхивало, как маяк. Каждое утро Аделина ждала этой минуты, затаив дыхание. И каждое утро чувствовала спиной — той самой спиной, которая давно разучилась чувствовать что-либо, кроме боли, — что Ян смотрит не на дуб, а на неё.

Она не знала, что с этим делать. Никто и никогда на неё так не смотрел. На неё смотрели как на пролитое молоко, как на невышитый узор, как на растрепавшуюся косу. Марта смотрела с жалостью. А Ян смотрел так, будто в ней было что-то настолько интересное, что нельзя пропустить ни минуты.

Он рассказывал ей о Солёной Гавани. О том, как весной там засоляют селёдку — целыми бочками прямо на берегу, и девки поют, чтобы не мёрзнуть руки. О старом глухом пасторе, который на всех свадьбах читает отпевание, потому что путает страницы, и никто уже давно не обижается. О своей бабке Ведане — травнице, которую полдеревни считало ведьмой, а другая половина — святой, и обе половины бегали к ней лечить зубы.

— У неё мазь есть, — сказал он однажды, словно бы между прочим, — от которой любая ссадина за три дня затягивается. И следа не остаётся.

Аделина не ответила. Она сидела на камне с прямой, как доска, спиной, как всегда, и не прислонялась к дубу, как всегда. И не замечала, что Ян замечает и это.

Он учил её вязать узлы. Это случилось само собой: он сидел, сматывая верёвку, а она смотрела на его руки — большие, в старых мозолях и свежих царапинах, невероятно быстрые, — и он протянул ей конец.

— Это булинь. Самый верный узел. Смотрите: вот нора, вот кролик. Кролик вылезает из норы, обегает дерево и прыгает обратно. Тяните.

Она потянула. Узел расползся, как живой.

— Кролик сбежал, — сказал Ян со вздохом. — Вы его вокруг дерева не туда пустили. Ещё раз.

На третий раз узел держал. Аделина смотрела на него с таким восторгом, будто сама соткала королевский гобелен.

— Красиво, — признал Ян. — У вас ловкие пальцы. Мелкая работа, сразу видно. Вышиваете?

— Каждый день, — вырвалось у неё прежде, чем она успела подумать. — То есть... когда нет работы на кухне.

— Разумеется, — сказал Ян. Это было его любимое слово, и Аделина начинала понимать, что он произносит его именно тогда, когда не верит ни единому её слову.

Однажды он принёс хлеб. Настоящий деревенский хлеб из тёмной муки, с тмином и солью, ещё тёплый, завёрнутый в тряпицу и спрятанный за пазухой. Аделина никогда в жизни не ела ничего вкуснее. Она съела половину и только потом спохватилась, что ест одна.

— Извините, — пробормотала она, протягивая ему остаток.

— Ешьте, — сказал он. — Я дома уже съел два таких. Странно, что у вас на кухне хлеба не дают. Вроде бы сама Марта печёт, лучше неё на всём берегу никто не печёт.

Аделина перестала жевать.

— Вы знаете Марту?

— Кто ж её не знает. Она за рыбой к нам сама спускается, раз в неделю, никому не доверяет. И всегда одна. — Он смотрел на море и говорил ровно, без нажима. — У неё и помощниц никогда не было. Барон не даёт. Говорит, одна справится.

Хлеб вдруг стал сухим и горьким.

Аделина положила остаток на тряпицу. Лицо у неё горело. Она ждала — чего? Что он рассмеётся? Что скажет: «Врунья»? Что встанет и уйдёт навсегда? В замке за враньё полагалось четыре удара.

Но Ян просто сидел рядом и молчал. И молчал так долго, что солнце успело пройти развилку дуба и залить светом весь мыс.

— У нас в Гавани говорят, — сказал он наконец, — что всякая птица вольна назваться как хочет. Хочет — чайкой, хочет — гагой. Морю всё равно, оно по перьям не судит.

И больше он об этом не заговаривал.

Барон Ротгер Остен не любил тратить деньги. Но ещё больше он не любил, когда вещи в его доме приходили в негодность. Поэтому, когда в конце октября во дворе замка лопнула старая цепь колодца, и ведро вместе с цепью ухнуло на дно, он велел управляющему Брюну заказать в Гавани новый канат — пеньковый, в три пальца толщиной, саженей на сорок. И чтобы привезли к пятнице.

В пятницу Аделина сидела с матерью в галерее над двором и вышивала. Галерея была любимым местом леди Иоланты — отсюда был виден весь двор, а со двора галерею почти не было видно из-за резных каменных перил. Мать любила смотреть и не любила, когда смотрят на неё.

Иголка порхала в пальцах Аделины. Узор для графини Сарен — виноградная лоза с птицами — был почти готов. Она не знала, зачем графине Сарен её вышивка. Она ни разу не видела графиню. Мать сказала только, что это подарок и что от него многое зависит.

Ворота скрипнули. Во двор вкатилась тележка, запряжённая старым серым мерином, и Аделина рассеянно взглянула вниз.

И уколола палец.

Рядом с тележкой шёл Ян. На плече у него висела огромная бухта каната, и он нес её так легко, будто это была вязанка хвороста. На нём были сапоги — видимо, парадные, для замка. И чистая рубаха. И волосы, смоченные водой, причёсанные — и всё равно торчащие со всех сторон.

Навстречу ему вышел Брюн, затем — Аделина перестала дышать — сам барон. Он любил сам принимать товар, за который платил.

— Канатчик Вереск? — спросил барон, останавливаясь в трёх шагах. Из галереи было слышно каждое слово. — Я думал, Вереск старше.

— Старший Вереск умер, ваша милость, — спокойно ответил Ян. — Три года как. Теперь я за него.

Барон наклонился, взял конец каната, покрутил в пальцах. Потянул. Понюхал — Аделина не поняла зачем.

— Смолил?

— Нет, ваша милость. Для колодца смолить нельзя — вода горчить будет. Вымочен в дубовом отваре. Прослужит лет десять.

— Посмотрим, — сказал барон. — Брюн, заплати ему половину. Остальное — если переживёт зиму.

Аделина видела, как сжались кулаки Яна. И как медленно, палец за пальцем, разжались.

— Угодно вашей милости.

Барон уже поворачивался, чтобы уйти, когда его взгляд скользнул вверх, к галерее.

— Аделина! — его голос раскатился по двору, отразился от стен. — Спустись. Пусть Вереск снимет мерку с твоих окон. В западной башне к зиме нужны ставни на верёвочных тягах, старые сгнили. И застегни наконец ворот, всегда нараспашку ходишь, как девка с рыбного рынка.

Ворот был застёгнут до самого подбородка. Барону просто нравилось это говорить.

Аделина медленно поднялась. Внизу, посреди двора, Ян Вереск стоял с бухтой каната на плече и смотрел вверх — прямо на неё. Лицо у него было совершенно непроницаемым. Наверное, так смотрят на грозовую тучу, когда лодка уже далеко от берега.

Леди Иоланта подняла глаза от книги.

— Иди, — сказала она. — И не задерживайся. Брюн пойдёт с вами.

Брюн не пошёл. У него на складе случился разговор с поставщиком солонины, и он только махнул рукой: поднимайтесь, мол, сами, не заблудитесь. И Аделина повела Яна по винтовой лестнице в западную башню, и всю дорогу они не сказали ни слова.

В её комнате он остановился на пороге. Огляделся. Холодный камин. Узкая кровать. Стул с тёмно-синим платьем на спинке. Пяльцы с недошитой лозой. Ни единой игрушки, ни книги, ни засушенного цветка — ничего, что говорило бы о том, что здесь живёт семнадцатилетняя девушка. Комната была похожа на келью.

И окно. Узкое окно на запад, в котором, как в раме, стоял старый дуб на краю мыса.

Ян подошёл к окну, достал из кармана бечёвку с узелками-отметками и начал мерить раму. Он мерил долго. Слишком долго для такого простого дела. Аделина стояла у двери и смотрела ему в спину, и ей хотелось умереть.

— Ян...

— Леди Аделина, — сказал он, не оборачиваясь. Голос его был совершенно чужим — вежливым и пустым. — Ставни будут готовы через неделю. Будут ли ещё какие-нибудь распоряжения?

— Ян, пожалуйста.

Он обернулся. И Аделина увидела, что на самом деле его лицо вовсе не непроницаемо. Оно было белым от ярости.

— Я не злюсь, что ты соврала, — тихо сказал он, впервые говоря ей «ты». — Я с первого утра знал, что ты не с кухни. У кухонных девок руки красные от соли. Я думал — горничная. Или бедная родственница какая, из тех, что живут за стол и кров. Я не злюсь. Я... — Он осекся и сказал совсем другим голосом: — Лина, почему ты никогда не прислоняешься спиной?

В комнате стало так тихо, что было слышно, как внизу, под скалой, дышит море.

Аделина могла бы соврать. Она научилась врать так же хорошо, как молча плакать. Она могла сказать — простуда. Или — упала с лошади. Или — так учит матушка, для осанки.

Вместо этого она повернулась к нему спиной. Подняла руки — сейчас это было уже не так больно — и расстегнула три верхние пуговицы, пришитые пониже, чтобы удобнее было расстёгивать самой. Опустила ткань с лопаток.

Она не слышала, чтобы он двигался. Она слышала только, как он дышит — тяжело, часто, как после подъёма по скале.

— Кто, — сказал он наконец. Это был не вопрос. В этом слове было что-то, от чего у неё по рукам побежали мурашки.

— Отчим. За пролитое молоко. — Она застегнула пуговицы и повернулась. — И за разбитую тарелку. И за ложь. И за смех за столом. И за то, что я на похоронах отца плакала слишком громко — это было потом, когда он уже женился, он вспомнил. Всегда семь ударов. Или пять. Или десять. Счёт ведёт он сам.

Ян сделал шаг к двери. Не к ней — к двери. И Аделина вдруг с ужасом поняла, куда он идёт.

Она вцепилась в его рукав обеими руками, как когда-то в лестницу под дубом.

— Нет. Слышишь? Нет. У него стража, у него грамоты, у него вся ваша деревня в долгу. Он тебя повесит. Или хуже — повесит не тебя, а твою бабку. И меня потом избит за то, что я сводничаю с канатчиками. Ян, пожалуйста. Пожалуйста. У меня в жизни есть один час. Один час на рассвете. Не отнимай его у меня.

Он стоял, глядя на дверь, и Аделина чувствовала под пальцами, как каменеют его мышцы. Потом — медленно, как тогда, во дворе, с кулаками — отпускают.

— Хорошо, — сказал он хрипло. — Хорошо. Но ты мне обещаешь одну вещь.

— Какую?

— Завтра утром ты придёшь на мыс, — сказал Ян. — И послезавтра. И каждое утро, пока нет тумана. И каждое утро ты будешь говорить мне правду — бил он тебя или нет. Никакой больше кухни. Никаких «разумеется». И ещё.

— Что?

Он посмотрел на неё сверху вниз — и вдруг что-то в его лице сломалось и стало мягче.

— И позволишь мне принести бабкину мазь.

Аделина закрыла глаза. Потом кивнула.

Уже в дверях он обернулся.

— А как тебя теперь звать? Аделина? Леди?

— Лина, — сказала она. — Меня так звал отец. Восемь лет меня никто так не звал. А потом пришёл ты. Так что это не совсем была ложь.

Ян кивнул. И ушёл вниз по лестнице, и Аделина слушала, как стихают его шаги, непривычно тяжёлые в парадных сапогах.

Внизу, на повороте, шаги вдруг стихли. Послышались голоса — низкий голос Яна и другой, ровный, спокойный, от которого у Аделины всегда холодело в животе. Слов было не разобрать.

Потом шаги застучали снова — два набора шагов, в разные стороны.

Аделина подошла к окну, чтобы увидеть, как Ян выйдет из ворот. Но окно смотрело на мыс, а не на ворота. На мысу стоял дуб и медленно терял листья.

А вечером Конрад за ужином сказал, не поднимая глаз:

— У нового канатчика на руке шрам. Длинный, как от верёвки. Я видел такой однажды у человека, который спускался по скале. Давно.

Барон не ответил. Но нож, которым он резал мясо, на мгновение замер над тарелкой.

Аделина этого не заметила. Заметила леди Иоланта.

Глава 5. Мечта о качелях

Мазь бабки Веданы пахла не так, как Мартина. В ней не было гусиного жира — был воск, была какая-то смола, тепло и горько пахнувшая сосной, и что-то ещё, от чего кожу сначала холодило, а потом по телу растекалось медленное доброе тепло, как от глотка горячего вина.

Ян принёс её на следующее утро, как обещал, в маленьком роговом футляре с деревянной пробкой. И протянул ей, не глядя.

— Бабка сказала — тонким слоем, на ночь. И не тереть. И чтобы тот, кто мажет, сначала руки вымыл в горячей воде с дубовой корой.

— У меня Марта мажет.

— Я знаю. — Он помолчал. — Бабка спрашивала, для кого. Я сказал — для девушки с мыса. Она долго на меня смотрела, потом полезла в сундук, достала оттуда вот этот футляр, сдула пыль и сказала: «Мазь в старом футляре настоится лучше». А потом добавила: «Этот футляр мне девять лет назад вернули. Пусть опять в замок сходит».

Аделина повертела футляр в пальцах. На его боку была вырезана маленькая чайка над волной.

— Это же герб Корвелей.

— Я заметил. — Ян пожал плечами. — Бабка не сказала, кто ей его прислал. Сказала только, что в замке когда-то были люди, которые лечились у неё. А потом перестали.

Девять лет назад. Аделина считала на пальцах, и сердце у неё билось чаще с каждым пальцем. За год до смерти отца. В тот год, когда мать ещё смеялась на весь двор.

Вечером она отдала футляр Марте. Старуха взяла его, посмотрела на чайку — и вдруг села на край кровати, тяжело, как будто у неё подкосились ноги.

— Откуда у тебя это?

Аделина рассказала. Всё — про мыс, про гагачий пух, про хлеб с тмином, про то, как Ян стоял с белым от ярости лицом в её комнате. Марта слушала молча, и с каждым словом лицо её становилось всё старше и старше.

— Ох, птичка, — сказала она наконец. — Ох, птичка моя. Ты понимаешь, что делаешь?

— Нет, — честно сказала Аделина. — Но я не могу перестать. Там я живая, Марта. А здесь — нет.

Марта ничего не ответила. Она открыла футляр, вымыла руки в горячей воде с дубовой корой, как было велено, и стала мазать. А наставлений в тот вечер больше не было.

Через неделю от старых шрамов остались только тонкие белые ниточки. Марта разглядывала их при свече и качала головой. «Ведьма, — бормотала она. — Как есть ведьма. Ничего за девять лет не растеряла».

Ноябрь пришёл сухим и морозным. Туманы кончились. Каждое утро над морем стояло чистое, звенящее небо, и солнце выходило из воды всё позже и позже — и всё левее, уже не в развилку дуба, а за его ствол. Аделине пришлось выходить позже и возвращаться бегом, и однажды она едва успела задвинуть плиту с чайкой, когда на дворе уже закашлял Брюн.

Но тут случилось странное.

За завтраком леди Иоланта, не поднимая глаз от своего яблока, сказала барону:

— Я распорядилась, чтобы Аделина до восьми часов читала у себя молитвенник. В одиночестве. Девице перед замужеством полезно смирение. Горничным я запретила её беспокоить. Завтракать она будет позже, со мной.

Барон пожал плечами. У него были свои заботы — в столице снова вздули цены на соль, и его счетовод присылал письмо за письмом. Аделина же сидела не дыша.

Перед замужеством.

И ещё — до восьми. До восьми, а не до семи. Лишний час. Ровно тот час, которого ей не хватало, чтобы встречать ноябрьские рассветы.

Она посмотрела на мать. Леди Иоланта резала яблоко на прозрачные дольки и ни разу не подняла глаз.

Но вечером, когда Аделина поднималась к себе, на лестнице её догнал Конрад.

Он не остановил её, не схватил за руку. Просто пошёл рядом, ступенька в ступеньку, как тень. Аделина не смотрела на него. С детства она знала: если Конрад идёт рядом — жди беды. Он никогда не бил её сам. Он просто приносил хлыст.

— У тебя сапоги в глине, — сказал он тихо, без выражения. — У границы подошвы. Красная глина. Такая есть только на Вдовьем мысу. И ещё в расщелине за стеной, где плющ.

Аделина остановилась. Сердце стучало так, что, ей казалось, его слышно на всю лестницу.

— Откуда ты знаешь про расщелину?

Бледные глаза Конрада что-то выразили — впервые на её памяти. Аделина не сразу поняла что. А когда поняла, не поверила.

Это был страх.

— Вытри сапоги, — сказал Конрад и прошёл мимо, наверх, к себе. И уже с верхней площадки, не оборачиваясь, добавил: — Отец смотрит на ноги. Всегда. Ты разве не замечала?

Хлопнула дверь. Аделина осталась стоять на лестнице и долго смотрела на свои туфли. На краю подошвы — и правда — алела тонкая рыже-красная полоска.

В ту ночь она долго тёрла их мокрой тряпкой при свече. И думала о том, что слово «расщелина» прозвучало из уст Конрада так, будто он сам там бывал. Не раз и не два.

— Расскажи мне про кольца, — сказал Ян.

Было восемнадцатое ноября, и впервые за все эти недели на мысе выпал снег. Ненастоящий, тонкий, как сахарная пудра на пироге, — он таял прямо под ногами, но вереск стоял белый, и дуб стоял белый, и абсолютно чёрные, отчётливые, как чернильные кляксы, висели над пропастью два ржавых кольца.

Ян принёс с собой овчину и сидел рядом с ней, завернув их обоих в неё — осторожно, так, чтобы не касаться её спины. Овчина пахла дымом, рыбой и тем самым деревенским хлебом с тмином. Аделина поняла, что теперь так для неё пахнет счастье.

— Про какие кольца? — спросила она.

— Про те, на которые ты смотришь каждое утро, когда солнце уже встало. Сначала смотришь на солнце, потом на кольца. И у тебя делается такое лицо...

— Какое?

Ян подумал.

— Как у мальчишек у нас на пристани, когда они смотрят на большие корабли. Которые уходят в тёплые моря. И знают, что никогда на них не попадут.

Аделина помедлила — и рассказала.

Она рассказала ему всё. Про лестницу, приставленную к дубу. Про запах стружки и табака. Про гвозди во рту и про то, как отец говорил сквозь них, и получалось смешно, и она смеялась, а он делал страшные глаза. Про качели, которые будут летать над морем. Про «качнёшься вперёд — и земли под тобой нет, только небо, совсем как чайка». Про «а назад — и снова дома». Про обещание. Про лето, которое не пришло.

Она не плакала, когда рассказывала. Она даже улыбалась. Это было самое странное — восемь лет она не могла думать об отце без стиснутых зубов, а сейчас, под овчиной, рядом с Яном, воспоминания возвращались к ней тёплыми. Как старые вещи, которые долго лежали в сыром подвале, а потом их вынесли на солнце, и они оказались целы.

Ян слушал, не перебивая. А когда она замолчала, сказал:

— У него был хороший глаз.

— Что?

— У твоего отца. — Ян кивнул на ветвь. — Я эти кольца сто раз снизу видел и всё думал — зачем они там? А они вбиты в самую крепкую часть ветви, там, где она ещё не истончается. И ровно так, чтобы качели на взмахе вперёд уходили за край на сажень, а на взмахе назад возвращались на твёрдую землю. Я недавно считал. Хороший глаз. Он знал, что делал.

Аделина посмотрела на него.

— Ты считал?

— Ну... — Ян вдруг смутился, и Аделина впервые увидела, как у него розовеют уши. — Я же канатчик. Мне интересно. Какая длина, какая нагрузка, какой узел — там же булинь не пойдёт, там надо страховочный с двойным обнесением, и верёвку не пеньковую, пенька на солёном ветру за два года сгниёт, а манильскую, её заморские корабли возят, у нас один купец держит немного на складе, и сиденье из ясеня, дуб тяжело, а сосна треснет на морозе, и ещё надо на кольца надеть медные втулки, чтобы верёвку не тёрло о ржавчину, и...

Он осекся.

Аделина смотрела на него так, будто он только что заговорил на языке ангелов.

— Ты уже всё придумал, — прошептала она.

Ян смотрел в сторону моря, и уши у него были уже не розовые, а пунцовые.

— Ты каждое утро на них смотришь, — сказал он. — Уже месяц. Что мне ещё оставалось делать? Все гнёзда на скале я давно собрал.

— Давно? — Аделина моргнула. — А гага-старуха?

— Улетела в начале октября, — сказал Ян. — Сразу после того, как мы встретились.

Аделина открыла рот. Закрыла. И вдруг рассмеялась — громко, на весь мыс, так, что с ветки дуба сорвалась и улетела перепуганная ворона. Она смеялась и не могла остановиться, и не хотела останавливаться, и слёзы текли у неё по щекам, и ветер сдувал их на виски.

Хлыст бы за такой смех не успел сосчитать удары.

— Ты врал, — выдавила она сквозь смех. — Целый месяц врал. Про птицу.

— Ну да, — сказал Ян, и уголок его рта дрогнул. — Мы оба хороши. Адмирал и кухарка.

Когда она наконец отсмеялась, он стал серьёзным.

— Я могу их сделать, Лина, — сказал он. — Качели. Так, как он хотел. Чтобы выдержали бурю. Я не знаю, хорошая это мысль или нет. Бабка говорит — плохая. Говорит, над Вдовьим мысом нельзя ничего строить, море обидится. Говорит, оно там уже взяло одного, кто строил. — Он помолчал. — Но бабка много чего говорит. Она ещё говорит, что если человек чего-то очень хочет и не делает, у него внутри трава не растёт. А у тебя внутри восемь лет ничего не растёт. Я же вижу.

Аделина смотрела на кольца. Чёрные на белом. Ржавые на седом. Обещание, застывшее в железе.

— Если он узнает...

— Он не узнает. Из замка дуб виден только из твоего окна. Я проверял, пока мерил раму. Из восточного крыла его загораживает башня. А с дороги — скала. Видно только с моря. А на море — наши. Наши не скажут.

— Ты и это проверял.

— Я много чего проверял.

Аделина повернулась к нему. Их лица были совсем рядом под овчиной, и она видела каждую веснушку на его носу, каждую снежинку, застрявшую в его ресницах, и серо-зелёные глаза, в которых вдруг не осталось ни следа насмешки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.